

Б. Б. КРОСС.
МЫСЛИТЬ НЕБЕЗОПАСНО...
ИЗ ДНЕВНИКОВ 1944—2004 гг.

1.

Вопрос о том, для кого и для чего пишутся дневники, возможно, так и не будет никогда решен. Остановить мгновение нельзя, но ощущение новизны, необычности и некоей театральности работы летописца редко покидает человека, даже если дневниковые записи становятся привычкой. Цель, которую ставит перед собой автор дневника, сначала может иметь утилитарный оттенок. Ему важно отметить события политические или семейные, но касаясь их, он неизбежно перемешивает все жанры, схемы и сюжеты дневника. Потребность оказывается привычкой, скованный и осторожный подбор слов сменяется размашистым почерком, тон становится уверенным — дневник превращается в зеркало, временами тусклое и искаженное, но отражающее контуры потаенного человеческого существования. Даже стремясь сосредоточиться на определенных темах, даже оставаясь в рамках публицистики, политики, философии и психологии, человек прежде всего выявляет самого себя, обнаруживает своеобразие своего жизненного стиля — пусть и в оговорках, репликах и междометиях. Дневник становится формой человеческой саморефлексии. Интуитивное и неясное ощущение, будучи переложенным на бумагу, осознается отчетливее, попытки его поправить усложняют средства самопознания, расширение языка, неизбежное при переходе от речи устной к речи письменной, раздвигает мировоззренческие горизонты. Ткань дневника рвется — его традиционная канва уже не выявляет неожиданные зигзаги и переплетения усложняющейся человеческой мысли, с ее парадоксальными ассоциативными связями и непривычной логикой.

Предлагаемые вниманию читателей записи Б. Кросса — характерный образец такого специфического «размывания» жан-

ра дневника. Его заметки 1945 – начала 1950-х гг. имеют много общего со стилем тех, кто начинает впервые вести дневник. Сразу видно, как трудно автору открыться – и для других, и для себя. «Обнаженные мысли и чувства столь же беспомощны, как обнаженные люди. Нужно, стало быть, их облачить» – писал Поль Валери. Форма «облачения» – обращение к чужому и маскировка им «своего». Первые записи – это обычно отклики на прочитанные книги, увиденные фильмы или спектакли. Это заметки скорее зрителя и читателя, чем бытописателя. Это неизбежно устанавливает пределы саморефлексии – она ограничена прокрустовым ложем эстетических, идеологических и политических размышлений. Заметны осторожность автора, его оглядка на общепринятые системы оценок, скупость самих этих оценок. Его мысли редко прорвутся наружу отчаянием, гневом, экзальтацией. Они прочно закованы строгим подбором слов, традиционностью дефиниций, нарочитой правильностью, продуманностью синтаксических конструкций, делающих текст порой похожим на школьные риторические упражнения. Нескладицы речи здесь нет. Это по преимуществу «ровное», лишенное пафосности описание, иногда с использованием привычных (и не очень эффектных) метафор. «Она сама по себе чарует и танцы воспринимаются как зрительное оформление мелодии» – так, например, оценивается музыка Чайковского.⁴⁴¹

Язык первых записей статичен. Здесь почти не найдешь озорного слова, меткой, пусть и пристрастной характеристики, «живых», но синтаксически неправильных реплик, нарушающих монотонность однообразной речи. Язык настолько «правилен», что не требует внешней отделки и фиксируется как раз и навсегда данное. Он не является регистром усложняющейся мысли автора, требующей новых, непривычных для него прежде слов и выражений – наоборот, зачастую эта мысль упрощается, лишается оттенков, унифицируется «неподвижным» языком. Пестрота слов, обращающая на себя внимание в ряде записей, не делает более тонкими передаваемые ими ощущения, а служит подспорьем для создания эффекта красоты слога. Типичными здесь можно счесть отклики на книгу А. Кронина «Цитадель»: «Этот оптимизм не в благополучии, победе, удволевтворении, успокоении, а в сознании высокого благородства... Есть и всегда будут такие люди, для которых их дело и совесть,

⁴⁴¹ Кросс Б. Мыслить небезопасно... Из дневников 1944–2004 гг. Мысли. СПб., 2005. С. 23.

т.е. так называемые «идеальные» побуждения будут больше значить, чем животное стремление к жизненному благополучию... Таков тон и всей книги: правдивость, искренность, свежесть. От этой книги... становится легко, тянет куда-то вдаль, трудиться, бороться. Это благородная книга в полном смысле этого слова и к благородству она и призывает». ⁴⁴²

Заметно, что эта нескончаемая вязь одних и тех же слов, хотя и в разных сочетаниях, никак не «расцветивает» оценки автора и не углубляет их, а является скорее своеобразным стилистическим каркасом. Живая, оригинальная мысль здесь скрыта многочисленными эпитетами, дисциплинирована или подчинена им.

В неразрывной связи с такими методами анализа находится часто используемая автором схематизация его аргументов, «тезисное» разделение ее по пунктам. Прием, часто применяемый педагогами, едва ли мог быть полезен для того, кто видит в дневнике средство самосовершенствования и самоусложнения. Скрупулезная схематизация заметна при разборе рассказа О. Бальзака «Опека» — подчеркивается, что рассказчик «сообщает тысячу вещей о своем герое: описывает его происхождение, родителей, родных, друзей, знакомых, портрет, костюм, квартиру, дом, улицу, окружающий квартал; его характер, намерения, мысли, планы, отношения с другими людьми». ⁴⁴³ Об этом можно было бы сказать короче, двумя-тремя словами, или афористической сентенцией — но тогда бы и стиль дневника был бы другим, менее «правильным» и более раскованным, «живым». Особую значимость тогда бы получили не блестящие красотой слога оценки, а парадоксы — эпатирующие, провоцирующие споры, будящие мысль. Вывод о том, что «Бальзак — сложный писатель. Он дает не только статические характеры, но и их динамику, развитие», не будучи подробно мотивирован, создает иллюзию простоты взгляда, независимо от того, присутствует ли это было в то время автору дневника. Доведение «ad marginem» этого приема схематизации можно обнаружить в записи о книге Э. Рувельта «Его глазами». Размышления автора сведены к нескольким весьма кратким, и потому неизбежно упрощенным тезисным положениям, разделенным по пунктам. Такая пунктуация впечатлений заметна и в откликах на роман

⁴⁴² Там же. С. 24.

⁴⁴³ Там же. С. 25.

И. Новикова «Пушкин в изгнании». Чувствуется она, хотя и не столь явно, и в других записях — четкость их структуры и краткость выводов даже без деления текста на «пункты» обнаруживают все ту же тенденцию.

Не стоило бы так подробно останавливаться на этой особенности почерка автора дневника 1940 – начала 1950-х гг., если бы не ее очевидная связь с определенным схематизмом его тогдашних оценок, как литературных, так и политических событий. Вычленение «главного» и невнимание к деталям есть практика упрощения видения мира и неудивительно, что оно соседствует с педантичным перечислением мельчайших и во все необязательных для фиксации в дневнике малозначащих деталей. В записи 8 февраля 1945 г. тщательно выписываются «канцелярское» название б. Мариинского театра («Гос. ордена Ленина Академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова»), звания артистов («дирижер — засл. арт. РСФСР»),⁴⁴⁴ которые здесь отчетливо диссонируют с очень красивой, хотя и не очень ясной ремаркой: «Зрительный зал опрокинут в сплетение гармонии».⁴⁴⁵ Это еще можно объяснить поиском своего стиля, робостью первых записей (позднее автор не будет столь педантичен при передаче своих театральных впечатлений) — но и в дальнейшем мы встречаем, например, едва ли не библиографическое описание рецензируемых книг, вплоть до указания количества их страниц. Это не случайно. Такая библиографическая дотошность столь же академична, как академичны и структура анализа искусства и политики в других дневниковых записях, как академичны методы полемики и приемы изложения аргументации, как, наконец, академичны «красивость» слов и их тщательный отбор. Академизм — это приверженность традиции, и прежде всего традиции. Это предпосылка той осторожности и сдержанности, которые всегда будут отличать автора дневника — но и условие продуманности, системности, «фундаментальности» его потаенного протеста.

2.

Эту академичность автор дневника обрел, конечно, не сразу. Многие его оценки в первых записях даны «готовыми». Тем ценнее те записи, которые представляют собой своеобразную стено-

⁴⁴⁴ Там же. С. 22.

⁴⁴⁵ Там же. С. 23.

грамму потока сознания. Одна из них на первый взгляд является синтезом впечатлений от чтения книги А. Чаковского «Это было в Ленинграде»: «Автор никуда не ведет, не зовет, не учит, а показывает жизнь такой, как она есть, со всеми противоречиями, миряет с ними. Это для нас, во-первых, странно; во-вторых, хорошо, — что правда, но, в-третьих, это все-таки деморализация».⁴⁴⁶ Уже отмеченное пристрастие к «пунктуационному» разделению здесь, пожалуй, только имитирует законченность и безапелляционность выводов. Перед нами скорее предельно сокращенная стенограмма последовательно возникающих, но подчас противоречивых размышлений автора. Первый его отклик скорее ортодоксален. Не очень привычная, по мнению Б. Кросса, для концепции соцреализма манера писателя вызывает какое-то сдержанное удивление («очень странно»), но не одобрение. Затем его вердикт меняется. Возвращаясь к своим впечатлениям, он отмечает «правду» писателя и дополняет свои оценки, считая такой подход «хорошим» — правда, особой связкой слов («хорошо, что правда») ограничивая перечень достоинств книги. «Это все-таки деморализация» — уточняет он далее свой вывод и независимо от того, чем он мог быть вызван (не исключено, что и ввиду причисления себя к лагерю романтиков и идеалистов), нельзя не признать, что он более близок к официальным представлениям о «нормах» советской литературы.

Отчетливее эта стенограмма потока сознания видна в записи 8 марта 1948 г. о фильме «Русский вопрос», поставленном по пьесе К. Симонова. Автору трудно определенно сформулировать свои ощущения. Подытоживая их, он сначала пользуется стереотипными оценками: фильм кажется ему и «схематичным», и «сильным». Парадоксальность таких полярных трактовок побуждает его вынести более «твердый», окончательный вердикт — и без двусмысленности. Он пытается это сделать, еще и еще раз перебирая свои впечатления — и не может все же дать ясный ответ: «Это политический памфлет — и “сила” его в этой плоскости. Для тех, кто не интересуется политикой, и этот фильм не интересен... А впрочем все-таки что-то не то,... если подумать, как следует, то чего-то нет, впечатление не остается надолго. Еще немного — и можно было бы сказать, что в нем нет ничего. Но это не так. Что-то все-таки есть. Но что?».⁴⁴⁷

⁴⁴⁶ Там же. С. 43.

⁴⁴⁷ Там же. С. 68–69.

Простота, краткость и однообразие вопросов и ответов скрывают этапы усложняющейся рефлексии Б. Кросса. В невидимой для читателя лаборатории рождается отклик более неординарный, хотя и по-прежнему не очень отчетливый: «Может быть, дело в том, что фильм светит отраженным светом. Поэтому он... светит бледно, тускло и... не греет».⁴⁴⁸ Образность здесь возникает вследствие трудности перевода неясных ощущений в отчеканенные политические формулы — и отчасти из-за того, что этими формулами если и можно что-то выразить, то выразить именно тускло. Переданная в образной форме, мысль автора становится менее тривиальной. Сопrotивление официальному языку, порой и подсознательное, возникающее вследствие и неполитических причин, противопоставление ему языка своего, хотя пока и неоформленного — первая ступенька к независимости мышления.

Другая из ступенек — тяготение к сложному, стремление к тому, чтобы оценка выглядела как можно менее банально. Примечательно, сколь часто автор дневника стремится выйти за привычный для советского человека круг чтения. Он знаком с трудами Вл. Соловьева, Ж.-Ж. Руссо, В. Брюсова, Л. Андреева и даже Р. Иванова-Разумника, эмигрировавшего из СССР во время немецкой оккупации. Сложное трудно, порой недоступно. Автор поначалу крайне осторожен, пытаясь разобраться в незнакомых терминах, в чужом языке, отражающем иной уровень мышления и другие техники анализа текста. Первичной реакцией на новую и непривычную для него культуру нередко была и попытка ее упростить, раздробив содержание книги или статьи по «темам», мало передающим их своеобразие и предельно общих. Внимание Б. Кросса при этом сосредотачивалось на более понятных ему аспектах вопроса. Не всегда сложное являлось и импульсом для уточнения или пересмотра позиции автора дневника. В ряде случаев оно не анализируется, не расшифровывается, а только цитируется, выводится тем самым за скобки, существует как бы вне цепочки размышлений автора.

Важнее, однако, другое — то, что автор ищет сложное, вновь и вновь обращается к нему, делает это чаще и чаще. Элементарность и примитивизм — вот огрехи советских «агиток» (политических, историографических, литературоведческих, философских), на которых он останавливается в первую очередь.

⁴⁴⁸ Там же. С. 69.

Сложность — это обязательный критерий истины для автора дневника — хотя далее он обращает внимание и на противоречивость содержания, на ложность исходных посылок и на умолчания, присущие советской литературе. Естественным тогда представляется и уже отмеченное выше стремление Б.Кросса к «красивости» слога. «Красивость» — это своеобразный лиризм, не очень-то характерный для «казенного» официального языка с его чересполосицей стереотипных политических клише и пафосной, далекой от безыскусности, риторики. «Красивость» иных записей дневника также нарочито стилизована, но у нее другая цель: показать индивидуальность своего голоса, указать на непричастность к толпе, найти новые краски для передачи чувств, которые противопоставлены мелким заботам обывателей, не способных оценить прекрасное и подняться над рутинной бытия. Наконец, «красивость» — это и мостик, перекинутый к миру литературы и искусства, туда, где автор и пробует себя в роли литературного арбитра, историка-философа, киноcritика, знатока изящного. «Они жили и пустыне, в которой по собственной прихоти строили миры поэтических грез», — так пишет он о В. Брюсове и К. Бальмонте в феврале 1945 г.⁴⁴⁹ Да, «красиво», но сравните это с репликой о символистах, прозвучавшей год спустя в печально знаменитом докладе А. Жданова — и стиль не тот, и лексика не та, и тон другой.

Это лишь некоторые из предпосылок, обусловивших возникновение и упрочение той жесткой критики советских порядков, советской идеологии и политики, которые со временем стали доминирующими на страницах дневника. Нельзя, однако, не отметить и ряд других, не менее важных, фактов. Один из них — афишируемая Б. Кроссом неприязнь к мещанству, противопоставление себя миру пошлости и лжи, ощущение уникальности собственного житейского опыта. Автор подчеркивает, и не раз, те свои характеристики, которые в глазах читателя отличают его как романтика. «Негатив» и «позитив» при этом как-то неуловимо связаны между собой. Чем светлее то, что ищет романтически настроенный автор, тем чернее оттеняющий эти искания «негативный» фон, т.е. те условия, в которых приходится бороться за возвышенные идеалы. Нельзя и выделить себя, не сгущая краски этого фона, не превращая практику критицизма в нечто постоянное. «Жизнь идет в стороне от меня по каким-то

⁴⁴⁹ Там же. С. 27.

своим законам, которые понятны всем остальным и кажутся им справедливыми... То, что другие принимают *просто*, для меня не случайно сложно... Где же ты, мировая гармония? Мне кажется, она может быть достигнута только тогда, когда исчезнут все материальные интересы» — читаем мы в его дневниковой записи 23 марта 1945 г.⁴⁵⁰ Несправедливость, корысть, зависть, карьеризм, интриги — он очень подробно перечисляет в ряде записей конца марта 1945 г. те эпизоды и сцены, где вырвались наружу эти низменные страсти.

Кто виноват в том, что люди стали такими? Они сами? Автор не раз задает себе этот вопрос (зачастую и не прямо, а косвенно) — и в своих выводах до конца последователен. Виноваты не столько люди, сколько условия «советской жизни», развязавшие их низменные инстинкты — таков его приговор. Через обличение бытовых неурядиц, склок, погони за наживой к обвинению всего политического строя в том, что он культивирует принцип «человек человеку волк» — вот путь автора дневника. Романтик неуютно чувствует себя в мире меркантильных, расчетливых дельцов, опустошенных людей, заботящихся только о пропитании и теряющих человеческий облик: «Здесь столовая, буфет. Очередь за печеньем. Научные работники чуть не дерутся с инвалидами войны из-за права идти вне очереди».⁴⁵¹ Будет ли он другим, когда увидит все то, что отвратительно ему, завуалированным политической риторикой? Нет, он не живет на два дома, поскольку и в собственных глазах, и в глазах того, кто позднее прочтет его записи, будет тогда выглядеть двурушником. Как он сможет порицать других, не будучи честен перед собой? Со временем обличение становится доминантой дневника. Это ось, тот цемент, который скрепляет повествование, условие обновления и усложнения духовного мира автора. Уберите этот фундамент — и здание рухнет.

В той же записи 28 марта 1945 г. читаем: «У нас в современном обществе... ложь, гнусный обман, лицемерие... Кричат о «свободах» печати, слова, совести, о равенстве, о «демократии», об отсутствии империалистических тенденций в политике, о справедливости и бескорыстии ее... Ложь».⁴⁵² Так критика нравов, расширяясь, ведет к политическому инакомыслию. Крити-

⁴⁵⁰ Там же. С. 29.

⁴⁵¹ Там же. С. 30.

⁴⁵² Там же. С. 31.

ка становится тотальной: мелочен и жаден «простой советский человек», алчны «передовые борцы за коммунизм», фальшива и труслива советская литература, лжива советская пресса, обманчива советская «демократия». От записи к записи оценки становятся более политически «крамольными» и жесткими, утверждения — более безапелляционными, презрение — более сильным, протест — более ярким и безоглядным. Но вот отклик на сборник статей 1915 г. — сборник «скорее всего кадетский», как замечает автор: «Многие из этих мыслей актуальны и интересны и теперь,... они сильны, свежи, оригинальны. Чувствуется движение общественной мысли, чего теперь у нас так мало... Общественной жизни именно свежей и оригинальной, т.е. не ходящей в шорах по проторенной тропинке, во-первых, умеющих оценить и проанализировать, во-вторых, не внушенной, не инспирированной, а вполне самобытной и искренней».⁴⁵³

3.

Вот лаборатория «внутреннего эмигранта»: настоящее не только отвратительно, но оно и уступает прошлому. Неприязнь к настоящему получает дополнительный импульс, поскольку оно — выражение регресса, а не прогресса. Кадеты оригинальнее советских публицистов, Блок, Брюсов и Белый интереснее советских писателей. Б. Кросс с какой-то брезгливостью пересказывает опусы последних, находя их «механическими», «штампованными», «стандартными». Может быть, смириться с тем, что ежедневно возмущает автора дневника, списать их на неизбежные «пережитки прошлого», или, например, счесть, по гегельянским и марксистским рецептам, теми противоречиями, которыми «движется жизнь». Для Б. Кросса противоречия бытия — это не условие развития человека и общества, их обновления и прогресса. Это «искажение» мира, неправомерное, требующее скорейшего искоренения. Взгляд автора со временем приобретает своеобразную «негацию» — все, что бы ни встретилось ему, требует исправления, все, что он слышит, имеет отпечаток лжи. Так повторяется изо дня в день, так возникает привычка к критике, так отшлифовывается техника обличений с уже готовыми приемами и логическими схемами. Можно усмотреть педантичность в ряде замечаний дневника при скрупулезном перечислении достоинств и недостатков какой-либо

⁴⁵³ Там же. С. 56.

работы — но столь же педантичным вскоре станет и перечисление критикуемых им советских порядков. Да, его формулы «красивы», отшлифованы порой до неестественного блеска — но разве «красивость» совместима с «казенным» советским языком. Чем чаще он пытается «красиво» выразить свои мысли, тем заметнее становится для него косноязычие официозов, грубость «агиток», бедный, «штампованный» язык литераторов. Да, есть какая-то монотонность критики, специфическая твердокаменность приемов, нерушимый сценарий сличения «pro» и «contra» с его нарочитой моралистической сентенцией. Но как иначе противостоять тотальному воздействию государства на человека — через университет, беллетристику, кино, прессу, научные труды и ученые «дискуссии» с их обязательным ритуалом обвинений и самообвинений. Очень трудно это сделать, если не столь же ежедневно, методично и безоговорочно «выдавливает из себя раба», защищаясь, как броней, той же казуистикой, выискивая мельчайшие промахи тех, кто стремится его поработить.

Б. Кроссу присуща какая-то особая «оценочность» взгляда. Он еще не начал говорить, а уже оценивает, явление еще не описано до конца, а уже помещается в жесткую схему. Напрасно искать в этом дневнике непосредственные, яркие картины, занимательные диалоги или что-то такое, что не поправлено критической репликой наблюдателя. Ему сподручнее взять нечто готовое, очищенное от наслоений непосредственных впечатлений, но представляющее именно квинтэссенцию. Может быть и потому он охотнее изучает книги, а не «человеческую комедию», живее реагирует на то, что «отстоялось», выкристаллизовалось, а не на то, что неуловимо растворено в калейдоскопе различных лиц и положений. Простая, бесхитростная запись того, «как это было» (если воспользоваться афоризмом Л. Ранке), история, как она есть, без ремарок, как единый поток, вбирающий в себя и главное, и второстепенное, не так интересны автору дневника. Мысль его методично классифицирует действительность, скрупулезно разделяет реальность на «хорошую» и «плохую».

В этом есть что-то близкое к приемам публицистов тех лет. Изучая дневник, невольно обращаешь внимание на то, что выступление против «системы» нередко осуществляется с помощью инструментов этой «системы». Аргументы, используемые им, «диалектичны» в том значении, в котором это слово использовалось в советское время. Нет аргументов, употребление

которых единственно возможно в раз и навсегда определенных ситуациях. Аргументы «ситуативны». Они годятся для критики одних постулатов, но в другом случае сами являются объектом критики. Неизменна лишь критика как таковая, неизменны сценарии обличения. Схемы критики в записях 1940-х—начала 1950-х гг. весьма примечательны. Автор дневника нередко порицает кого-либо не столько за то, что он делает, сколько за то, что он делает это неправильно, неумело, непоследовательно. Тем самым он неизбежно оказывается в рамках того порядка, который оценивает.

Общество несправедливо, а это развивает «личные интересы», нет взаимопомощи — пишет он. Почему эта неприязнь к «личным интересам» оказывается столь созвучной советской пропаганде, поднаторевшей на проповеди коллективизма? В другой из записей он обвиняет газету «Культура и жизнь» в лицемерии и постоянной ругани. Вывод: «...Ругать — это не самый действенный способ политического воспитания, политической пропаганды и агитации. Разве не надо показывать положительные явления, ставить положительные же задачи, цели, “идеалы”? А получается... будто в нашей советской культуре и нет ничего хорошего».⁴⁵⁴ Вывод этот вполне ортодоксален: воспитывать надо, но не бранью, а чем-то другим, и идеалы нужны — сплошь положительные, и в советской культуре есть хорошее. В романе И. Кратта «Остров Баранова» ничего не сказано о «нешадной эксплуатации туземцев» (запись 19—21 августа 1946 г.),⁴⁵⁵ у Дж. Лондона нет «общего цельного мировоззрения» (запись 6 января 1946 г.)⁴⁵⁶ — такие примеры можно продолжить. Выявить происхождение этих оценок труда не представляет. Интересно другое. Говоря иногда ортодоксальным, большевистским языком, приводя ряд привычных постулатов, автор дневника, как это ни парадоксально, именно лояльной критикой затверживает азы инакомыслящего. Главное не в том, в чем уличена советская газета, а то, что она уличена. Газета перестает быть авторитетом, обязательным для автора дневника — завтра можно в ней будет оспорить и другое, не относящееся уже к литературе. Об одной из повестей говорится, что там мало социалистического реализма и Сталинскую премию, может статься, ей

⁴⁵⁴ Там же. С. 61.

⁴⁵⁵ Там же. С. 57.

⁴⁵⁶ Там же. С. 46.

дали «по благу». Важнее здесь не упрек, а ощущение того, что премии даются несправедливо, что канон «шедевров» советской литературы создается произвольно, не в силу художественных достоинств, а по идеологическим мотивам — так размываются ориентиры, которые должны воспитывать массы. Так постепенно формируется уже отмеченная выше «негация» взгляда, который проблематичное и сомнительное подчеркивает теперь в первую очередь, отодвигая положительное и заслуживающее похвалы на второй план. Эта «негация», правда, заметна уже в ранних записях дневника. Что, казалось, может задеть его автора в киножурнале, показывающем подписание акта о капитуляции Японии. Но нет здесь пафоса, нет эйфории победы: «Наши генералы выглядят какими-то приземистыми, толстыми, неуклюжими, неловкими (это впечатление усиливается одеждой, формой — явно не европейской)... Наши генералы держатся неловко, принужденно, не знают, куда девать руки, что делать; с напряжением стараются держаться с достоинством. Явно чувствуется недостаток культуры...».⁴⁵⁷ И это — почти все, что Б. Кросс счел необходимым рассказать о конце войны. И это — начало дневника, но очень симптоматичное в свете того, каким в дальнейшем оказался путь его автора: от лояльного указания на некоторые недостатки до тотальной критики всего советского: политики, экономики, истории, идеологии, культуры, быта.

4.

Дневник 1960-х–1980-х гг. имеет несколько доминант, часть из которых была заметна еще в ранних записях. Это философские, политэкономические, социологические опыты. Это размышления о политике и литературе, о нравах и искусстве. Автору интересны не новости, а события — мы очень мало найдем здесь откликов на злобу дня. Для него привычнее углубляться в прошлое, а не оценивать настоящее. Он и имеет дело именно с реликтами — уже опубликованными книгами, уже сформулированными теориями, уже ушедшими с политической арены лидерами. Записи становятся длиннее, превращаясь порой в законченные эссе. Темы в них переплетены — иногда философская медитация обрывается литературоведческой репликой и заканчивается политическим выводом. «Нейтральных» записей почти нет, все посвящено одной цели — разоблачению лжи, ли-

⁴⁵⁷ Там же. С. 40–41.

цемерия, умолчаний, непоследовательности и противоречивости канонических постулатов, выявлению истинной подоплеку событий и тех приемов, которыми она маскируется. Разоблачение имеет тотальный характер. Опровергается марксистская философия, подвергается сомнению марксистская политэкономия, заметен сарказм в оценке внутренней и внешней политики СССР, нелицеприятный вердикт выносится произведениям советской литературы и советского искусства, скептически воспринимается фигура «нового советского человека».

Обращает на себя внимание скрупулезность, обдуманность, обстоятельность рассмотрения почти каждой из затронутых автором дневника тем. Он размышляет, а не только кратко и безапелляционно излагает свои выводы. Происхождение его оценок выявляется здесь намного рельефнее, чем в дневнике 1940-х гг. В ряде записей заметен скрытый диалог: прежде, чем определить свою позицию, автор говорит о позиции других, ведет с ними спор, уличает их в двусмысленности, обнаруживает их обман. Он ежедневно объясняет себе, почему он непримирим, объясняет логично, последовательно, с помощью аргументов, которые ему кажутся неопровержимыми. Такое действие необычайно усиливает критический настрой — за ним стоит не сиюминутное раздражение, но фундаментальное интеллектуальное усилие. Постоянные упражнения в этой «негативной» диалектике постепенно создают привычку, а затем и потребность в критике. Осведомленность автора дневника в различных областях гуманитарных знаний еще тверже упрочивает критичность его взгляда: нет повода для едких сентенций о внутренней политике, но есть литературный опус, который кажется достойным порицания, не прочитаны еще последние статьи экономистов, но можно поразмыслить над философскими ухищрениями профессиональных идеологов.

Не столь уж и важно, где ему предстоит на сей раз выявить свой скепсис. Различные ощущения и впечатления, реплики и раздумья — политические, философские, экономические, этические — образуют неостановимый единый поток, который размышляет то, что прежде воспринималось как аксиоматичное. Порой кажется, что автору дневника вообще недоступны какие-либо иные подходы, кроме критических, что он еще не успел отметить что-то, как уже отозвался на это саркастической оговоркой. Можно спорить о том, плохо это или хорошо, но для того, чтобы

опровергнуть аксиому, обязателен труд особый, нужен взгляд предельно пристрастный, необходимы твердость, жесткость и нестигаемость при отстаивании своей правоты. Разумеется, за это приходится платить, и цена в ряде случаев оказывается высокой. Чем можно подчеркнуть шаткость представлений советских пропагандистов о будущем коммунистическом обществе, основанных на оговорках Маркса? Ссылкой на самого Маркса, который о коммунизме высказывался во многом иначе. Как можно опровергнуть постулаты политэкономии, во многом сформулированные Марксом? Только развенчанием Маркса, который превращается из авторитета в близорукого путаника, не пожелавшего сделать должные выводы из современных ему событий. Таким же операциям подвергается (хотя и более редко) Ленин, и вообще подобное «ситуативное» использование аргументов в ряде случаев не чуждо Б. Кроссу. Эта «диалектика», однако, глубоко оправдана, и едва ли ее можно принять за неразборчивость в средствах с целью посрамления оппонентов. Это скорее важное свидетельство самостоятельности почерка автора дневника, следствие разностильности его переходных состояний. В каждом из них он делает еще один шаг, освобождаясь от влияния догм и раздвигая свой кругозор — но еще не полностью отгораживаясь от влияния логики оправдания и приемов полемики тех, с кем он спорит. Это придет позднее, но тем и интереснее для нас лаборатории, в которых формируется инакомыслящий вопреки тотальному и силовому воздействию советского режима.

5.

Обратим внимание на структуру доказательств и причинно-следственные связи в социологических интерпретациях Б. Кросса 1960–1980-х гг.

«Коммунизм — это прекрасная мечта, но не более», — пишет он в дневнике 29 мая 1964 г.⁴⁵⁸ Почему? Ответ таков: «С точки зрения диалектики вообще не может быть достигнуто совершенное общество. В противном случае прекратилось бы развитие... Развитие будет происходить (теоретически) вечно. Следовательно, вечно будут существовать противоречия (это закон диалектики)». Это — первый тезис в цепочке умозаключений автора дневника. Запись имеет заголовок: «Мои мысли о коммунизме», но

⁴⁵⁸ Там же. С. 92.

и самые критерии коммунизма, равно как и понятие диалектики, рассматриваются в трактовке не совсем гегелевской и не совсем марксистской. Он анализирует более модернизированный вариант — концепцию «научного коммунизма», сложившуюся к середине 1960-х гг. Для него незыблемо, что коммунизм имеет только те характеристики, которые отмечены в этой концепции, и для него прочно убеждение в аксиоматичной ценности диалектики. Он не спорит с этими понятиями, созданными до него, они ему кажутся надежным инструментом для того, чтобы опровергнуть другие постулаты. Тем самым, хочет ли он этого или нет, автор дневника невольно подчиняется правилам игры, установленным не им самим, а другими ее участниками.

Тезис второй: невозможно удовлетворить все потребности, поскольку сразу появляются потребности новые. Игра продолжается — то, что коммунизм предполагает распределение товаров и услуг по принципу: «каждому по потребностям, от каждого по способностям», сформулировано еще «классиками» марксизма-ленинизма. Автор дневника сравнивает их тезисы, находит противоречия между ними самими, между ними и диалектикой, и, наконец, между ними и реальностью — но канва и диалога, и спора задана опять же догматикой все тех же «классиков».

В другой записи — 7 июня 1964 г. — автор размышляет о том, «каким должен быть общественный и политический строй».⁴⁵⁹ Идеал таков: «Новая система должна быть организована так, чтобы оставить как можно меньше места для всяких случайных, и, следовательно, неопределенных факторов. Надо, чтобы она действовала автоматически, с непреложностью законов природы». Чего стоит в этом случае диалектика с ее законом спиралеобразного развития, не подлежащая, как истина, никакому сомнению (это явно видно по записи 29 мая 1964 г.) — не очень ясно. Но примечательнее здесь вот что. Советская модель социализма, как отмечается тут же, не самая лучшая. Что ей противопоставить? Парадоксально, но все ту же веру в то, что общество может быть математически четко выстроено, веру в общество, не допускающее случайностей и сбоев, действующее, подобно роботу или станку. Не о том ли мечтали «классики» и не по их ли заготовкам сконструировали постоянно оседавший каркас советской системы с ее обязательной централизацией, с ее тотальностью приказов, которые должны выполняться с уже знакомым нам «автоматизмом».

⁴⁵⁹ Там же. С. 102.

Сказать, что здесь, пусть и подсознательно, проявилась зависимость от идеологии того, кто пытается ее преодолеть, и ограничиться только этим — нельзя. Необходимо еще и подчеркнуть условность самого акта освобождения, которому были присущи десятки, если не сотни переходных состояний. В такой ситуации трудно абсолютно верно определить степень своей свободы — особенно тогда, когда приходится оценивать ее по старым меркам. Исчезновение реликтов в мышлении ввиду ежедневного «критического» действия кажется естественным и потому не очень заметно. Но тому, кто внимательно читает дневник, видно, как это происходит: расширяется круг рассматриваемых вопросов и сюжетов, безоговорочнее и жестче становятся вердикты, разветвленное и подробнее оказываются многочисленные эссе, вкрапленные в ткань дневника, сложнее и извилистее выглядят полемические ходы, применяемые автором.

Нельзя не отметить, однако, что там, где Б. Кросс не связан каким-либо авторитетом, более спорными кажутся его доводы и менее приемлемыми его выводы. Особенно это ощущается в тех записях, где он свободно переходит от истории к биологии, от экономики к социологии. Это цена самостоятельности его поиска, издержки «тотальности» его критики. Обычно снисходительно относятся к тому, что о философии размышляют этнологи, о литературе — физики, об истории — математики. Никто не хочет выглядеть дилетантом, но это не мешает тому, что в истории начинают искать математическую точность, а в физике — свободную игру случайностей. Более знакомыми и привычными приемами исследования начинают пользоваться как универсальным инструментом, не желая признать, что он не всегда пригоден даже в пределах одной отрасли науки. В скрупулезных до педантизма, формально-логических штудиях автора дневника во всех случаях, когда он выходит за рамки истории, есть, конечно, очень много от приемов историка. Понимание специфики предмета, профессионализм, знание языков и терминов науки здесь очень нужны, но автору важнее самостоятельность выводимой им причинно-следственной цепочки, оригинальность собственных трактовок, не повторяющих заученное с чужого голоса. Главное — свобода постижения истины, постижения, не передоверяемого другим, но осуществляемого лично. Чем свободнее он чувствует себя в непривычных для него областях наук, тем легче ему рвать с тем, что близко, что

кажется несомненным, чему он непосредственно обязан своим воспитанием и развитием. Это нетрудно доказать, перечитав дневник. Именно там, где свобода высказывания в большей мере оборачивается спорностью логических и содержательных аргументов, там раскованность, уверенность, виртуозная игра понятиями выглядят наиболее впечатляюще и ярко.

6.

«Я чувствую буквально физическое отвращение ко всяким безделушкам, дешевым репродукциям, фотографиям, вышивкам, коврикам... По-моему, все это дешевка и мещанство. Для мещан всегда было характерно стремление подражать высшему свету... Мещане пытаются подражать аристократам, но так как для приобретения... дорогих вещей у них нет средств, они заменяют их эрзацами...» — читаем в дневниковой записи 12 февраля 1965 г.⁴⁶⁰ Объяснения не новы и вполне условны — и у аристократа в яснополянском доме висела на стене репродукция картины Рафаэля. Но эти строки очень важны для понимания того, почему не ломается человек, почему он самостоятелен, почему не плывет по течению вровень с веком. Неприязнь к безделушкам и ненависть к аляповатым картинам, бедным стихам, скудной прозе, примитивным теориям — одного корня. Можно выстоять только так — сопротивляясь, от начала до конца, сопротивляясь мелочности житейских правил, бытовому мещанству, вслед за этим и наравне с этим, сопротивляясь политике и идеологии, официозной литературе и искусству. Сопротивляясь великому и малому, граду и миру; уступишь одному — и разрушится многое. Сопротивляться — в этом все. Приводя какие угодно аргументы, привычные и оригинальные, глубокомысленные и поверхностные — но сопротивляться.

Кому-то покажутся спорными или не очень новыми доводы автора дневника, кто-то упрекнет его в том, что он более сын века, чем хотел бы быть. Кого-то огорчит, что нет здесь эпатажа, а есть ровные, «гладкие», синтаксически правильные конструкции — без просторечия, сформулированные языком интеллигента. Нетрудно заметить, как часто тут повторяются одни и те же эпитеты и образы, столь традиционны и привычны они для лексики людей второй половины XX в. Автор — ученый, а не художник. Сугубый рационализм его интеллектуальной реф-

⁴⁶⁰ Там же. С. 118.

лексии сделал и язык таким — рациональным, структурным, строгим, правильным. Метафоры и гиперболы здесь лишь элемент украшения, своеобразный «декор» речи.

Важно не это. Не столь уж и обязательно оценивать глубину и оригинальность его размышлений. Дневник интересен другим. Это совокупность идей, мотивации, тем, используя которые, человек советской эпохи становится свободным — медленно, но неуклонно. Всякое сопротивление неотделимо от языка, привычек, культуры, стереотипов своего времени. Кто-то более, кто-то менее оригинален — не это главное, важнее — итог.

«Выстоять — это все», — говорил Рильке. Перед нами записи того, кто выстоял — пусть и немалой ценой, защищаясь молчанием, пряча свои мысли от окружающих и не вызывая их подозрений. Его дневник показывает, что есть лишь один путь — от духовного рабства к духовной свободе. Он необратим. Дар свободы нельзя возвратить. Даже если вновь придется маскировать себя, человек уже не будет таким, как прежде — хотя и вновь заговорит на отвергаемом им наречии, хотя и будет участвовать в предписанных ему ритуалах.

Дневник Б. Кросса — одно из драгоценных свидетельств того, как рождается «новый человек» — не тот, которого пытались безуспешно сотворить советские идеологи, но тот, который создал для себя сам. Это свидетельство о том, как много в этом новом человеке «старины», как трудно ему рвать с прошлым. Перед нами подлинная летопись «трудов и дней» человека — цельности и разделенности его существования, света и тьмы его видения, твердости и хрупкости его духа.